

К 75-летию Казанского суворовского военного училища

Моим братьям-кадетам третьего (1951 года) выпуска
Казанского суворовского военного училища посвящаю

В том ныне бесконечно далёком 1944 году, в конце августа, в вятский городок Мамадыш, в наш деревянный двухэтажный дом пришёл на моё имя вызов в Казанское суворовское военное училище. Шёл сентябрь 1944 года, в Казани производился набор во вновь создаваемое суворовское училище. Моя прошлогодняя попытка — поступить в новорождённое Сталинградское СВУ — печально провалилась. Мама собрала и послала необходимые документы в приёмную комиссию.

Но в войну почта работала медленно из-за цензуры, и пакет с бумагами вернулся нераспечатанным.

И вот через год я, одиннадцатилетний пацан, три дня и три ночи — без мамы, родных или знакомых — ждал на вятской мамадышской пристани пароход до Казани. Съел за это время весь полученный по карточке на несколько дней вперёд чёрный и такой вкусный, непропечённый, липкий хлеб.

Мама-сердечница тогда работала по-солдатски — круглые сутки. Иногда прибежала ко мне на минутку — бледная, истощённая, тяжело вздыхала, целовала и снова исчезала, маленькая и как будто испуганная. Километрах в двух от пристани находился её пост: она охраняла на берегу Вятки брёвна и дощатый лабаз ткацко-прядельной фабрики, эвакуированной в наш Мамадыш ещё в сорок первом откуда-то из-под атакуемой немцами Москвы.

Стояло бабье лето. Воцарилась погода солнечная и ветреная. Воду на реке рябило, поэтому и клёв, как жаловались пацаны, изредка удившие с носа и кормы пристани, был плохой. На противоположном низком берегу Вятки пылал жёлтой листвой тальник. Ночью становилось холодно, неудобно, а протолкнуться в крохотный зал ожидания было невозможно. Здесь, при свете закопчённой керосиновой лампы, на полу, на скамейках, среди мешков, котомок и вёдер, в потной духоте и невероятной тесноте спали бабы, старики и дети. А мне по ночам приходилось, свернувшись в калачик, корчиться в проходе пристани — с берегового борта на причальный. На остром влажном сквозняке, свернувшись калачиком на каких-то тюках, я тщетно пытался согреться и заглушить голодное урчание в животе. Под голову пристраивал пудовый мешок с картошкой — его мне предстояло доставить в Казань как дар семье моей старшей сестры Наталии.

Днём по пристани нервно ходил и курил длинные папиросы командир партизанского отряда, отец моего эвакуированного дружка — белоруса Витьки

Баранова, одетый в чёрную гимнастёрку с орденом и медалями. Периодически он на чём свет разносил начальника пристани за то, что нет парохода: ведь он, командир, опаздывает из отпуска.

А однажды на дебаркадере появился подвыпивший матрос. На спор с танкистом, пугавшим меня страшным обгоревшим лицом, матрос скинул с себя бескозырку, форменку и клёши, перемахнул через перила дебаркадера и надолго скрылся под водой. Широкими сажёнками переплыл Вятку, довольно широкую, а главное — очень холодную в эти дни, туда и обратно — и торжественно вышел на берег у носа дебаркадера в прилипших к телу трусах.

В ночь перед приходом парохода я не выдержал голода и холода и побежал домой. Пристань находилась довольно далеко от города. Идти по тёмному пустынно-му берегу, когда слышишь только собственные шаги по каменистой дороге, шуршание набегающих на гальку волн, а справа угадываешь взглядом крутые и тёмные скаты холмов, иссечённые оврагами, становилось жутковато. К тому же этим летом я прочитал книжку «*Каменотёс Нутри*» о строительстве пирамиды фараону Хеопсу. Фараон умер, его со всеми египетскими почестями положили в пирамиду. А Нутри, тесавший для её возведения камни, решил похитить у мумии фараона оставленные для его загробной жизни сокровища. Заранее спрятавшись в пирамиде перед похоронами владыки, он долго блуждал по лабиринтам, встречаясь с разными страшными каменными божествами. В конце концов он добрался до мумии, забрал драгоценности. Однако бедняга погиб от голода и жажды, потому что вход в пирамиду оказался строителями предусмотрительно заваленным скалой от проникновенья воров.

А сегодня я шёл и временами бежал по ночной дороге, озираясь и вглядываясь в темноту, и моё воображение рисовало жуткие картины из повести о древнем любителе лёгкой наживы. К тому же по городу бродили

слухи о нынешних дезертирах, якобы любителях человечьего мяса, и здесь им — в заросших густым кустарником оврагах — прятаться, как мне чудилось, было бы самым надёжным местом. А моё тощее тельце могло на время утолить их трусливую дезертирскую утробу...

Ночевать мы, я и мама, попросились у знакомых, живших на берегу Вятки, откуда можно было услышать пароходные гудки. Их хриплое паровое рыдание разбудило нас утром, и мы, спавшие одетыми, задыхаясь и подбадривая друг друга окриками, рванули к дебаркадеру.

И вот чудо!.. Пришло одновременно два долгожданных однопалубных парохода, но оба были переполнены грузами и пассажирами: «Чувашреспублика» и «КИМ». Мне досталось место на палубе «КИМа» (для забывших эту некогда известную аббревиатуру приведу её расшифровку: «Коммунистический интернационал молодёжи»). Здесь палубу устлали неведомо откуда доставлявшиеся пласты каучука. Поэтому всё — и живое, и мёртвое — на пароходе пахло резиной и древесным дымом, валившим из толстой трубы за рубкой рулевого. Плыть от Мамадыша до Казани по Вятке, Каме и Волге предстояло трое суток. А хлеба мама у кого-то заняла всего полбуханки, и я его, по-моему, уничтожил сразу же, как только пароход отвалил от пристани. С берега махала мне рукой и утирала слёзы моя мама, Евдокия Ивановна. Она оставалась в Мамадыше не совсем одна — с козой Манькой.

Благо в Казань, в ремесленное училище, плыл мой дружок — Петька Бастригин, круглый сирота, очень пронырливый конопатый паренёк. Мать его умерла до войны. А прошлой весной умер от «разрыва сердца» отец-сапожник, демобилизованный из армии по болезни за полгода до смерти. Пока отец находился на фронте, Петька и его младший братишка Санька жили с тёткой, настолько скаредной и вредной, что Петька предпочёл сбежать от неё в мамадышский детдом...

Детдомовец Петька быстро снюхался с мальчишками из казанской колонии для малолетних преступников, работавших лето в пригородном колхозе. С их грозным коренастым *паханом* и его *шестёрками* я тоже был знаком. В первую же ночь нашего плавания колонисты ночью украли у старика-татарина ведро мёда, и Петька под покровом темноты пару раз притаскивал мне ломти хлеба с липовым пчелиным подарком. Не помню, размышлял ли я тогда о моральном праве съесть тот посланный Христом с Тайной вечери помазанный хлеб. Зато как сейчас помню блуждающего по палубе беленького старичка в лаптях и холщовых портянках до колена, матерившегося на русском и татарском и испытующе вглядывавшегося в лица пассажиров прицельным взглядом. Возможно, он и меня обнюхивал, но обоняние *бабая* наверняка притупилось, и преступление осталось нераскрытым.

Ночи я проводил у паровой трубы. От её железного тела исходило благодатное тепло. Было, правда, не совсем комфортно сидеть на покато скользком кожухе у её основания, упираясь спиной в трубу, а ногами — в стенку рулевой рубки. Пароход тяжело пыхтел, шлёпая по воде колёсами, на мачте горел красный фонарь и плескался треугольный флаг. Миазмы каучука превратили в ничто свежие запахи реки и осеннего тумана. А на душе было зябко и одиноко в преддверье неопределённого будущего...

На казанской пристани я впервые увидел пленных немцев. Этой «коричневой чумы», как тогда россияне называли оккупантов, было видимо-невидимо. Они сидели рядами на скате берега, на земле, поджав ноги, и от пространства над ними исходил, хорошо помню, густой отвратительный запах человеческих испражнений. Потом, уже подходя к трамвайной остановке, я понял, откуда этот запах: за каким-то киоском лежали груды этого арийского «добра»... Не исключено, что это были

немцы, взятые в плен под Сталинградом — тоже на Волге, — а может, и на Курской дуге. Сейчас они сидели, мятые, небритые, с расстёгнутыми воротниками грязно-серых мундиров, и жмурились, глядя на блестящую под солнцем «*мутер-Волгу*». Они были живы. А мой брат Кирилл уже полтора года лежал в земле где-то под Орлом, с осколком мины в затылке. Своей гибелью открыл мне возможность поступления в суворовское училище как братишке, находившемуся у него на иждивении.

В моём кармане была только бумажка с казанским адресом сестры. В трамвае мне подсказали, как доехать до Малой Галактионовской, где она жила в квартире с мужем и их годовалой Светкой. Но остановку назвали неточно. Я вышел в центре города — на «*Кольце*». Так в обиходе казанцы называли площадь Куйбышева — кадета царских времён и пламенного революционера. Со своим мешком картошки весом в пуд на плече, часто останавливаясь передохнуть, потный и полуобморочно голодный, я доплёлся по Пушкинской до Ленинского сада. И здесь внезапно столкнулся с Наташей, сестрой. Она и её муж, Ахмет Касимович Аюпов, работали неподалёку, в Татарском обкоме ВКП(б), инструкторами: сестра — в отделе народного образования, а зять — в сельскохозяйственном. Наташа спешила на обед — к полуторагодовалой дочке Светлане, оставлявшейся родителями на попечение какой-то няньки. Война! Поэтому работать всем приходилось не менее двенадцати часов в сутки, часто без выходных. Да ещё и по ночам дежурить: *Хозяин* — так обкомовцы между собой называли Сталина — предпочитал работать по ночам. И не приведи Господь, если он или его приближённые позвонят в любое время суток, а у телефона никого не окажется.

Чуть не забыл!.. Мой закадычный друг и спутник-кормилец Петька Бастригин, едва мы сошли с парохода, сразу же куда-то исчез вместе с дружками из колонии малолетних преступников, а короче — с «колонистами».

Помнится, я очень удивился, увидев его стоящим на «колбасе» встречного трамвая, когда я ехал с пристани в город. На этом контакты с ним прекратились, хотя наша дружба имела богатое прошлое. Вместе мы три года проучились в одном классе. Вместе совершали лихие вылазки в чужие огороды за огурцами и подсолнухами. А прошлым летом часто ходили на базар, где я «на хапок» украл с прилавка трофейную зажигалку у старика, торговавшего разными привлекательными побрякушками. Нагнал меня не милиционер, а долговязый *урка*, побольшевицки реквизировавший у меня награбленное и навсегда радикально излечивший меня от деятельности подобного рода. Зато мы совершили неудачную попытку залезть в квартиру к Петькиным соседям, когда его отец лежал в больнице, а Петьке и его братишке Саньке было нечего есть. Поделиться с ними я тоже не мог, поскольку скудным карточным пайком скрупулёзно заведовала моя мама. В этом случае от совершения преступления нас остановил замок, не пожелавший открыться гвоздём.

Прожил я у сестры во влажной полуподвальной квартире, нравившейся двухвосткам, дня три. За это время прошёл разные комиссии — медицинскую, мандатную, сдал экзамены по русскому языку и арифметике. Неудачно прыгнул с подножки трамвая и по неопытности ободрал себе локти и колени. И в конце концов оказался в *карантине* — так назывался дом на территории Суворовского рядом с проходной. В этом здании вскоре поселились семьи наших командиров и преподавателей.

В карантине сдружился с казанским пацаном Юрой Бирюлёвым. Из-за тесноты карантинного помещения нам приказали спать на одной кровати, и в одну из ночей он меня обмочил. Хотя, впрочем, Юрка пытался свалить эту слабость на меня. На некоторое время я потерял к нему доверие: недержание могло обернуться для меня отказом на приём в училище.

Впрочем, и для Бирюлёва его «диверсия» подмочить свою и мою репутацию прошла безнаказанно.

Мы жили в карантине, одетые в свою штатскую одежду, а мимо нас маршировали в столовую и обратно подразделения облачённых в ослепительную форму суворовцев. И Боря Овсянников, фронтовик с гвардейским значком, запевал звонко и тоже ослепительно: «*На рейде опять легла тишина, а море окутал туман...*»

У нас было одно утешение: мы питались в той же столовой и ели то же, что и эти счастливицы в форме. И нас, как и их, называли *воспитанниками*. Обращение «*суворовец*» было учреждено только несколько лет спустя, и мы долго путались, называя себя при рапортах воспитанниками. Потом, оказавшись в армейских офицерских училищах и академиях, обрели всеми признаваемое универсальное историческое гордое звание — *кадет*.

Тогда, в столовой суворовского, я впервые познакомился с рисовым пудингом, залитым фруктовым соусом. А также — с компотом... И вообще, только теперь, после долгих лет систематической голодовки, я познал чувство сытости.

Много лет спустя полковник Карпов, первый начальник санитарной службы Казанского СВУ, скажет, что в физическом развитии — из-за военной голодовки — мы отставали от нормы от двух до трёх лет. И какими же богатырями стали многие из нас за годы кадетской житухи! Меня это не касается: я горд тем, что ни разу в жизни не перепрыгнул «*коня*» дальше его середины. Даже на выпускных экзаменах в Рязанском Краснознамённом пехотном училище имени К. Е. Ворошилова. Мешал *бигвизм* или что-то ниже — об этом пусть судят потомки...

Да и, в конце концов, живой скакун служит как раз для того, чтоб сидели и скакали на нём, а не прыгали через него!..